

Альберт Лиханов

Мой генерал (фрагмент)

**Часть первая
Самое начало**

Про меня

Будем знакомы: меня зовут Антон, то есть Антошка.
Я живу в Сибири. Я и родился там – так что я сибиряк.
Не подумайте, будто я горжусь этим.
Ведь никакой моей заслуги в этом нет.

Один родился на юге – он южанин, другой – на севере, он северянин. А я родился в Сибири.

Не знаю просто, почему на сибиряков как-то по-особенному смотрят. Я, например, никогда не думал, что какой-то особенный. Это только когда в Москву с дедушкой приехал, все на меня пальцем показывали и охали: ох, сибиряк!

Но я самый обыкновенный. Учусь в школе, как все. Бывает, двойки получаю, а про тройки даже и не говорю. Способностей, что ли, не хватает?

Я над этим вопросом часто задумываюсь. Мама меня критикует. «Ты бы, – говорит, – меньше философствовал, а больше учил».

«Где уж тут философствовать! – думаю я. – Философствуют ученые или там выдающиеся люди. Просто я обыкновенный».

«Обыкновенным, – спорит мама, – или необыкновенным человек сам себя делает. А не делается по щучьему велению».

Ну, что еще про себя сказать?

Учусь я в четвертом классе, а соседа моего по парте зовут Кешкой, то есть Иннокентием, мы с ним дружим.

Остальное у нас сходится.

Мы оба больше всего земляничное варенье любим и кино про шпионов. Зимой любим, когда деревья стоят закуржавелые, а летом любим купаться. Отцы наши – Кешкин и мой – оба на строительстве работают.

Вот и все про меня.

Про папу

Мой папа – Великий Кочевник. Так его мама называет, когда она в хорошем настроении. Папа тогда улыбается, кажется, вот-вот и он замурлычет от удовольствия, как котенок. Зато когда у мамы настроение плохое, она называет его Несчастливым Скитальцем. Отец смотрит на нее напряженно, испуганно и походит на первоклашку, у которого пятиклассник хочет портфель отнять. И мне тогда жалко папу, потому что Великий Кочевник и Несчастный Скиталец прежде всего заместитель главного инженера.

Я даже слышал, как двое взрослых за моей спиной сказали про меня: «Это замов сын».

Сначала я не понял, а потом догадался: мой отец заместитель, сокращенно – зам, а я его, значит, замов, сын.

Вот так. И зря мама сердится, обзывает его Несчастливым Скитальцем, потому что те двое взрослых слово «замов» сказали очень уважительно. Получилось даже, что они сказали уважительно обо мне, хотя я обыкновенный четвероклассник и, ясное дело, ничего такого пока не заслужил. Просто уважение к папе как бы на меня распространилось.

И отец совсем не виноват, что он Великий Кочевник. У него такая работа. Он строит электростанции. Построит одну, переезжает в другое место и снова строит. Мама ездит с ним. И я тоже. Но это же понятно – мама его жена, а я его сын.

Мама ворчит, когда у нее плохое настроение:

– Хочу в Москву, там пустует такая квартира – пятьдесят метров! Хочу в театры ходить! Разве мы не заслужили? Третью станцию достраиваем!

Папа стучит пальцами по столу. Это сложный спор. Мой папа – коренной москвич, он там родился, а мама – сибирячка, они познакомились в Иркутске, поехали на свою первую стройку, а на второй я родился, но дело не в этом. Дело в том, что коренной москвич папа в Москву не рвется, а вот мама рвется.

– Сколько раз звали тебя в министерство! – говорит она. – И потом, нельзя же всю жизнь строить, строить, строить! Ездить, ездить, ездить! Нужно стать когда-то руководителем, консультантом! Учить других. Советовать! Писать книги. Защитить диссертацию.

Но папа не хочет быть руководителем и защитить диссертацию. Он хочет строить, строить, строить! Ездить, ездить, ездить!

Он лохматит белобрысые, как у меня, волосы, хмурится, молчит.

– Почему ты молчишь?! – восклицает мама. – Опять думаешь о прочности бетона?

– Нет, – улыбается папа, притягивает маму к себе и целует ее в висок. – Я думаю не о прочности бетона. Я думаю о прочности любви. И я знаю, что ты думаешь совсем другое, не то, что говоришь. Ты думаешь, как хорошо, что мы живем не в шумном городе, а здесь, в глубине Сибири! Ты думаешь о том, что мне хорошо и я чувствую себя человеком, без которого на стройке нельзя обойтись! Ты думаешь, что в Москве, в прокуренных кабинетах, я бы прокоптился и зачах, потому что я не курю и не выношу табачного дыма! И еще ты думаешь, что прибирать квартиру в пятьдесят метров гораздо дольше и хлопотнее, чем нашу двухкомнатную, а московские спектакли можно прекрасно смотреть по телевизору!

На маму папины слова производят впечатление. Теперь на котенка похожа уже она. Вот-вот замурлычет.

Мама кладет голову папе на плечо, прикрывает глаза, улыбается.

– Ну ладно, – говорит она, – мне-то не привыкать, я же сибирячка, посмотрим, как ты, коренной москвич...

Коренной москвич хмурится. Вот теперь, я знаю, он думает о прочности бетона.

Про маму

Когда папа действительно думает о прочности бетона, мама ему никогда не мешает. Ходит на цыпочках, подносит ручку и бумагу. Папа хочет написать книгу об испытании прочности бетона. Он выводит какие-то формулы, что-то считает, записывает на бумаге каракули, а мама штопает носки и улыбается.

Я люблю смотреть, как мама улыбается. Лицо у нее круглое и ямочки на щеках, а глаза ясные, синие. Если она сидит у окна и солнечный луч сбоку светит, падает маме прямо в глаза – хрусталики ее горят, словно прозрачные камушки. Мама моя

добрая, я ее злой никогда еще не видел. Даже когда сердится, она все равно добрая. Волосы у мамы русые, она их в косы заплетает и укладывает кольцом на голове. За это папа зовет ее солнышком. А всех вместе нас – семейством Белобрысыковых. Имя у мамы, как и лицо ее, – округлое, доброе: Ольга. Работает она главным санитарным врачом района, и поэтому они с папой поругиваются. Папа говорит: всему голова – стройка. Мама спорит: стройка находится на территории района. Папа говорит: судьба района зависит целиком от стройки. Мама настаивает: стройка – для людей, которые живут в районе...

И вот они спорят. И я соглашаюсь. То с отцом. То с мамой. Кто убедительней в этот раз говорит.

И в самом деле – как тут быть?

Электростанция, которую папа строит, – самая мощная во всей Сибири. Такую речичу перегородить надо – ого-го! Даст станция ток – и заработают заводы, которые уже строить начинают вокруг. И в нашем поселке, и в районе, где мама главным санитарным врачом работает. И во всей Сибири. Мне нравится это папино сравнение. Он говорит: наша ГЭС – как ромашка. Станция – это желтая серединка, ядро, а лепестки – это заводы, колхозы, леспромхозы. Лепестков без центра быть не может. Это верно!

– Но что за ромашка без лепестков? – спорит мама. – Ободранная какая-то! Ведь станция твоя – для людей, для заводов, колхозов, леспромхозов, про которые ты говоришь! Значит, о людях думать нужно. Вперед глядеть!

Верно! И мама тоже права.

Мама сердится, когда спорит, но лицо у нее по-прежнему доброе, и папа смеется.

– И как это, – удивляется он, – тебя все в районе боятся? Да и наш начальник – гроза грозой, с министром ругается, кажется, без телефона его голос в Москве слышат, а как узнает, что ты к нам едешь, сразу команды по телефону отдавать начинает – чтоб прибрались, чтоб соблюдали...

Мама улыбается, а я с папой соглашаюсь. Вон у нас в школе какая чистота. В поселке грязюка – весной и осенью не проберешься, но в классах чистота, потому что по маминому указанию возле школы сбили деревянные корытца и наш санпост никого в грязных сапогах не пустит. И мытье в корытцах мама трехступенчатое придумала. В первом – самую грязь отмывать

надо, во втором – сапоги домываешь, а в третьем – начисто ополаскиваешь.

Как мы живем

Ну как мы живем? Обыкновенно!

В семь часов за мамой приходит ее «газик» с красным крестом на дверце. За папой – другой «газик», с брезентовым верхом. Иногда папа велит дяде Коле, шоферу, за ним не приезжать, и тогда мама подвозит папу к управлению строительства, потому что за мамой машина всегда приходит – она по району носится как угорелая, везде ей поспеть надо. Машины есть у мамы и у отца, и шоферы к машинам прикреплены, но и мама и отец сами прекрасные водители. Особенно мама. Она заправский шофер. Любит одной рукой руль держать – это уж высший шик, особенно у нас, в Сибири, на наших ухабистых дорогах.

Мама папу до работы подвозит, меня же в школу – никогда, хоть я и просился. Только в первом классе, когда распутица весной была, мама меня подвозила. Я тогда маленький был и нахлебал грязи сапогами. Глубокая была грязь в ту весну, я перейти ее не мог, а попросить, чтобы взрослый кто-нибудь перенес, постыдился и набрал в сапоги грязи. Мама тогда меня к школе подвозила дня три. Пока не придумала, как меня спасти.

Спасла все-таки. Достала сапоги взрослого размера, тридцать восьмого, кажется, а внутрь мои тапки вмонтировала, обшила их сверху старыми носками, чтоб ноги не болтались. Голенища у взрослых сапог высокие, ходить неудобно было, так мама вырез сзади сделала треугольный. Получились такие ботфорты. Как у Петра Первого. На картинке я видел – идет Петр, сапоги у него намного выше колен спереди, а сзади короче, до колен. Вот так и у меня.

Папа смеялся над маминым изобретением. Говорил ей: у тебя инженерные способности.

– «Способности»! – ворчала мама. – Нажали бы лучше по министерской линии куда следует. Надо же учесть обстановку строительства. Шлют сапожки для городских детей. В таких сапожках только по асфальту шлепать. А как же на стройке? Голенища-то для Сибири надо повыше!

Папа посмеивался, а мамин опыт тут же распространился. Стихийно. Без всяких нажимов. Вон сначала сколько ребят у нас в одном сапоге приходили! Ревут – сапог утонул. Мамино изобретение сразу понравилось. Мои сапоги разглядывали, удивлялись. Потом чуть не все малыши во взрослых ботфортах щеголять стали.

А мама сама же свое изобретение отменила. Положили на улицах асфальт по ее требованию. К школе добираться легко стало. И хотя в ботинках весной и осенью никто у нас не ходит, ботфорты уже исчезли, потому что грязь теперь не по колено, пониже.

Ну так вот. В семь часов «газики» у подъезда тарахтят. Мы выходим втроем.

– Приеду поздно, – говорит отец.

– Антон, суп на плите, второе в холодильнике, не забудь выключить газ, – говорит мама.

– Оревуар вам! – говорю я.

«Газики» разъезжаются в разные стороны, я шлепаю в школу и думаю опять про этот французский.

Мама, когда о Москве говорит, считает, что там я бы многое получил. Например, изучил французский.

– Там есть специальные школы, – говорит она, – где все предметы преподают на французском языке.

– И русский? – спрашиваю я ехидно.

Мама сердится на меня и требует, чтобы я поусердней занимался у старушки Анны Робертовны. Вот странная – про школу может неделю не говорить, а о французских уроках расспрашивает с пристрастием и подробностями – что спрягали, как правильно произносить разные слова и что сказала про мои успехи Анна Робертовна.

Анна Робертовна фигура в поселке выдающаяся. Всю жизнь прожила в городе, преподавала французский в Смоленском пединституте, а когда вышла на пенсию, приехала со своим сыном Гришей в Сибирь. Ребята потихоньку дразнят ее «ля мадам», и я с ними в душе согласен. Анна Робертовна длинная и тощая, ноги у нее тонкие, и, когда она идет по весенней грязи, ее широкие сапоги громко хлопают по ногам. Будто два петуха крыльями лопочут. Но Анна Робертовна на шум внимания не обращает, голову держит гордо, независимо поглядывает вокруг сквозь очки из толстого стекла в серебряных ободках.

Я хожу к французенке три раза в неделю, тоскливо слушаю, как повторяет она склонения – «же парль, ву парле», – гляжу на лысоватого инженера Гришу, который, вернувшись с работы, жует сосиски, и мне его смертельно жалко: мне кажется, что он всю жизнь ест только сосиски, но не потому, что они нравятся ему, а потому, что сосиски – французское слово...

Как же мы живем?

Впрочем, я отвлекся. Начал рассказывать, как мы живем, а застрял на Анне Робертовне. Французский – это не жизнь, что и говорить. Жизнь – это совсем другое.

Жизнь – это зима, например, а среди зимы замечательные активированные дни. Каждый знает, в календаре есть красные дни. Это праздники и выходные. А у нас, в Сибири, есть еще активированные дни. Они бывают зимой. Встанешь утречком пораньше и скорей вкручиваешь радио на полную громкость. В половине седьмого это бывает. Ни раньше, ни позже. Я-то знаю, все мальчишки в поселке у радио торчат в половине седьмого. Потому что в полседьмого диктор скажет температуру воздуха. Когда минус сорок объявит – это пустяк. В сорок мы учимся. Сорок – никто за мороз не считает. А вот когда пятьдесят ударит!

Я отца спрашивал. Он ведь в Москве учился, раз коренной москвич. И он говорит, там в тридцать градусов в школу не ходят. Ха! Тридцать! Тридцать у нас – считай что жара. Кешка, например, в тридцать по улице идет, шарф на плече болтается, горло открытое. Да в тридцать у нас мороженое у клуба продают, и мы его вовсю трескаем. Но вот в пятьдесят!

В пятьдесят от мороза лопаются траки на тракторах – железные звеньишки, из которых гусеницы делают. Я видел – Гриша мне показал, – как на таком морозе шестеренка – стукнул по ней молотком – рассыпалась. Пятьдесят – это холод! В пятьдесят у нас «красные дни», активированные.

Я выяснил у отца, почему так называется – активированный день. Он сказал – от слова «акт». Собираются люди и составляют акт, такой документ. Так, мол, и так, температура минус пятьдесят, железо не выдерживает, работать нельзя.

– Совсем нельзя? – приставал я к отцу.

– Да можно, но вот железо... – И он рассказывал, что активированные дни в радость не всем.

Я удивился, понять этого не мог.

– Люди работать хотят, понимаешь? – говорил отец. – План стоит!

Нет, я не понимал. Раз такой мороз, кому охота работать? Папа ходил по комнате, нервничал.

– Для нас, – говорил он, – для гидростроителей, зима – лучшее время. Река как бы пересохла, вот в чем соль. Лед для нас – суша. Можно хорошо поработать.

Это верно: зима у нас – самое лучшее время. Зимой дышится легко и свободно. Зимой мы гоняем с горы на лыжах, и, когда влезешь на высоту, видно отсюда насыпь плотины, частокол подъемных кранов и разводы черной, студеной воды, от которой валит холодный пар.

Это стройка. Это наша стройка нашей ГЭС.

Почему я говорю – «нашей»? Ведь я не работаю там. Я только учусь. Но так у нас говорят все ребята, хотя они только учатся, а не работают. Так говорят наши учителя, хотя они тоже не работают на стройке, а учат нас. Так говорят продавцы в магазине, киномеханик Андрей из поселкового клуба, мороженщица Зинаида Ивановна и вообще все люди, живущие в поселке. Стройку называет нашей даже Анна Робертовна.

Летом на стройку можно смотреть и с другого места. С Кешкой мы ходили летом за кедровой шишкой – его дед Иннокентий Евлампиевич взял отгул, выстрогал деревянную колотушку, и мы отправились на неделю в тайгу. Кешкин дед ударял по кедром, а мы собирали упавшие шишки. Возвращаясь, мы поднялись на вершину горы. Прямо под ногами обрывалась отвесная скала, а с другого берега, наполовину разрезав реку, лежала плотина, по которой, похожие на муравьев, двигались люди. Я никогда не видел нашу стройку с такой высоты и так близко. Сердце обмирало от страха, и что-то подкатывало к горлу. Что это было?

Не знаю. Прежде такого никогда не случалось со мной. Зато случалось позже... Позже...

Вот я рассказываю вам про себя, про маму и про отца, про наш поселок и как я черпал сапогами грязь, рассказываю про Анну Робертовну и «ву парле», перебираю всякую ерунду и боюсь –

боюсь начать о самом главном... О том, что было позже... Хотя зачем обгонять время? Пусть будет как было, и я стану вспоминать все по порядку.

Часть вторая

Дедушка

Какой был дед

Короче говоря, у меня есть дед. Дедушка. У каждого человека есть дедушка, а то и два. Вот у Кешки есть два дедушки и две бабушки. Матери и отцы его матери и отца. Ведь каждый человек не берется ниоткуда: он – продолжение. Учительница природоведения нам объясняла: все в природе имеет продолжение. Например, деревья. Весенние сережки у березы превращаются в малюсенькие семечки с крылышками, ветер подхватывает их, разносит по полям и лугам, по тайге, семечки попадают в землю, из них вырастают новые березы, и снова весной у них бывают сережки, а летом – семечки с крыльями, которые, летя, кружатся, словно маленькие пропеллеры. И у этих пропеллеров есть родители и есть дедушки и бабушки – старые березы. Вот и у людей так.

У меня тоже.

Только у меня один дедушка – папин папа. Когда я ходил в детский сад, у меня была и бабушка. Но она умерла. Я помню, как плакала мама, как торопливо, дрожащими руками собирал чемодан папа, как они отвели меня к Кешкиным родителям и улетели в Москву, на похороны. Остался один дедушка. Отец писал ему, чтобы он ехал жить к нам, но дедушка говорил, что пока не имеет права. Он был военным, мой дедушка. Он был генерал, и, наверное, командовал войсками. Я думал так тогда, в детском саду, а когда вырос, твердо знал, что дед еще служит в армии, живет в Москве и обещает, выйдя в отставку, приехать к нам.

Я его не видел ни разу.

Вернее, видел, когда мне и года не было. И бабушку видел. Но, конечно, не помнил. Мама и отец ездили в Москву специально меня показывать. Какой я уродился. В кого. В кого я уродился, тогда установить не удалось, но назвали меня Антоном. Как и деда. Отец меня иногда кличет – Антон Второй. Это мне нравится. Был

когда-то король Карл Двенадцатый, а я – Антон Второй. Тоже неплохо.

Дедушка жил в Москве, мы жили в Сибири и часто думали друг о друге. Я знал, что дедушка думает о нас. Что он не может не думать. Папа был его единственный сын, а я единственный внук. А он был у меня единственный дедушка, и мы вечерами говорили о нем.

Дедушкин портрет висел у нас в большой комнате над папиным столом. Дедушка был там совсем молодым, на гимнастерке, на углах воротника, сверкали шпалы, и глаза у дедушки тоже сверкали на этой фотографии, как и пряжка с пятиконечной звездой. Дедушка был снят не один. На плечо ему положила руку девушка с пушистыми косами. Я все никак не мог понять вначале, как эта девушка может быть моей бабушкой. Вот военный мог быть дедушкой, но она...

Дедушка и бабушка смотрели со стенки на всех нас. Они были как-то так сфотографированы, что смотрели на тебя, даже если ты уйдешь в дальний угол комнаты. Как будто наблюдали, как мы тут живем.

И мы часто говорили про них. Папа говорил, что мама – его мама – была с дедушкой всегда и везде, где бы он ни служил – на Дальнем Востоке и на Кавказе, на Украине и в Мурманске. И, слушая папу, можно было подумать, что дедушка служил везде. Когда папа говорил про это, он всегда смотрел на маму, будто звал ее. И она подходила к папе, гладила его по голове, словно маленького, потом клала ему руку на плечо и спрашивала меня:

– Антошка, правда, мы с папой похожи на бабушку и дедушку?

Я смотрел на фотографию, вглядывался в маму и отца и кивал головой.

Правда, они были похожи.

Письма из Москвы

Я часто думал о дедушке, я хотел его увидеть.

Но он все не выходил в отставку. И не приезжал в отпуск. Может быть, отпуск не брал – как отец.

Отцу вот все некогда. Все что-то у него на стройке горит. Все без него обойтись не могут. Только соберемся вместе в Москву

поехать, чемоданы укладывать станем, папа какой-то виноватый с работы является. Вздыхает. Хмурится. Мама на него строго поглядывает. Молчит. Да что там, даже я понимаю, в чем дело. Опять отец не может в отпуск поехать – какой-нибудь «важный этап работ», как он говорит.

Мама помолчит, помолчит, потом на меня посмотрит:

– Ну что, Антошка, позагораем дома?

Я надуюсь – хочется в Москву съездить. Потом подумаю. Успокоюсь. Ясное дело, позагораем, не бросать же Великого Кочевника? Он все-таки зам, и, хотя главный инженер и сам начальник стройки его в отпуск просто прогоняют, никуда он не уедет.

Такой уж мой отец.

Ну а дедушка?

Наверное, мой папа в своего папу пошел. Одинаковые характеры. Работают и оторваться от своей работы никак не могут.

Я часто думал, какая же такая работа у деда? Когда война – дело ясное. Военные воюют. Генералы командуют. Направляют войска, производят маневры, обороняются и наступают. Но вот когда мир? Он всегда писал нам: «Работы невпроворот». А что за работа у него – ничего не писал.

Дед присылал оптимистические письма. Только после бабушкиной смерти он не писал месяца три. Папа и мама волновались. Слали ему телеграммы. Просили взять отпуск и приехать. Дед молчал. Изредка отвечал телеграммами: «Все в порядке, не беспокойтесь». Потом стал писать бодрые письма. Про то, как он ездил в воскресенье на пляж. Или про то, что теперь по Москве молодежь ходит нестриженная, с длинными волосами, и он спросил однажды у девушки – который час, а оказалось, у девушки усищи, как у таракана, и деду чуть худо не сделалось.

Папа читал дедушкины письма из Москвы и говорил нам:

– Плохо ему одному. Надо, чтобы он приехал.

Мы усаживались за стол и сочиняли дедушке письмо. Описывали сибирские красоты. Нашу реку. Тайгу. Поселок. Заманивали к себе.

Дед отвечал одинаково. Писал, что подал рапорт, но ему отказали. А когда мы обещали сами явиться в Москву, он извинялся за негостеприимство и писал, что лучше не надо.

Приедете, отвечал он, а потом удерете, а я опять один останусь. Лучше потерплю до отставки. А там к вам махну.

Получая дедушкины письма, папа качал головой, вздыхал, мама тоже вздыхала, и я вздыхал – потому что все вздыхают. Я тогда про деда думал, как, например, про Чапаева из кино. Дед был для меня как бы литературным героем. Вот у нас в классе сочинение было: «Мой любимый герой». И я про Чапаева написал, потому что кино о нем раз десять видел. Вот я и про дедушку тогда тоже мог бы сочинение написать. И пятерку заработать, когда человека не знаешь, про него всегда легко писать. А дед ведь у меня – генерал. Вот пожалуйста – можно написать, как он фашистов громил. Как метко пушки его по Берлину стреляли – дед-то еще и артиллерист. Или как он в гражданскую на вороном коне скакал с шашкой в руке... Хотя в гражданскую мой дед не воевал. Но разве это важно? В сочинении все можно написать, на то оно и сочинение.

От слова «сочинять».

Потрясающее известие

В общем, дед слал нам бодрые письма, и папа с мамой отвечали ему тем же. Рапортовали, как мы живем, как строим электростанцию, как у нас хорошо и весело. А я должен честно сказать, что незаметно для себя перестал верить, будто дед когда-нибудь к нам приедет. И, хуже того, перестал верить, что дед вообще у меня есть.

И вот, как сейчас помню, пришел я от Анны Робертовны, с французского языка. Она меня еще изъясняться по-французски приучала, как могу. «Вдруг, – говорит, – к нам в поселок французы приедут, делегация какая-нибудь. Или, допустим, ты во Франции окажешься. И тебе надо про себя рассказать. Давай, мол!»

Я пыхтел, изъяснялся: «Ж'абит дан Сибир». Дескать, я живу в Сибири. «Мон пэр инженер». «Мой отец – инженер». И так далее. Я еще спросил тогда Анну Робертовну, как по-французски – дедушка. «Гран-пэр», – сказала она. Большой отец, значит, в буквальном переводе. Забавно. Я засмеялся.

– Говорят, у тебя дедушка – генерал? – спросила Анна Робертовна.

– Ага, – ответил я.

– Такого слова – «ага» – в русском языке нет, – наставительно сказала Анна Робертовна. – «Ага» – это по-татарски «барин, хозяин». Никогда не говори так – «ага», если хочешь быть по-настоящему воспитанным человеком. Отвечай: уй! Пардон, отвечай: да!

Ну, эта Анна Робертовна! Мама говорила, она в каком-то забавном институте до революции училась. Благородных девиц, что ли? И что за институт – смехота! Вот и меня благородным все норовит выучить. Но спорить я не стал.

– Уй, – ответил ей, – мой дедушка – генерал.

– Во французской армии, – затуманив глаза, сказала Анна Робертовна, – если офицер обращается к младшему по чину, то тот откликается по специальной форме. Не «да» или «есть», а – «мой лейтенант!», «мой капитан!», «мой генерал!».

Анна Робертовна мечтала о чем-то, а я молчал, думая, как это сказать по-французски «мой генерал». Мон – мой, это я знал, а вот как будет генерал?

– Мон женераль! – сказала тогда задумчиво Анна Робертовна. – Мон женераль! Ах, как звучит!

Ну вот, я пришел домой в тот день, разогрел на плите суп, поел холодных котлет, как вдруг загремел звонок. Долго, протяжно. Я разозлился, думал, опять Кешка. Забыл задание в дневник записать, а теперь трезвонит как сумасшедший – это с ним часто случается. Закричал ему еще из кухни:

– Тихо! А то как дам!

Открыл дверь, а на пороге отец. Никогда я его таким не видел. Шарф из пальто выбился, шапка на самой макушке, того гляди, свалится, глаза сияют, дышит тяжело – мчался, наверное, по лестнице: ясное дело, не про бетон сейчас он думает. Но про что?

– Где мама? – крикнул отец.

Я плечами пожал. Станный вопрос! На работе.

Отец меня боком двинул, по комнате в грязных сапогах пробежал, прямо по ковру – вот от мамы достанется! – и за телефон схватился.

– Станция! – кричал. – Станция! Соедините с районом!

Потом на меня взглянул, словно только увидел, и кричал, будто в пятый раз мне команду подает, а я не слышу:

– Собирайся! Живо! Дед летит! Только что звонил!

Мама за рулем

Мама сидит за рулем, крутит баранку, хватается за рычаг, которым переключают скорость, и причитает:

– Ну как же так, господи! Стидища-то какая! Ждала-ждала, а в доме пусто! Хоть бы пельменей наvertеть!

На нее забавно смотреть: модный берет на голове, красивый шарфик, покрашенные губы, а баранку вертит, как заправский лихач.

Дорога до города, где аэропорт, – ухабистая, с глубокими лужами, полными желтой, глинистой воды. Мамин «газик» рычит на подъемах, нас с папой подбрасывает на рытвинах, но мы молчим – оба в полной маминой власти. Погодка сегодня, как назло: ветер бросает в ветровое стекло пригоршни дождя, «дворник» не успевает его чистить, и дорога, и деревья рядом сквозь водяную муть видны искаженно, неясно, но мама газует на полную скорость. Ну, мама!

– Вот видишь, Несчастный Скиталец, – кричит она, – какие у вас дороги! А если человек заболит и такая погода, что вертолет не вызовешь? Не довезут ведь! Садовые вы головы!

Папа на мамину критику не отвечает. Молчит. Он весь напряжен. Его взгляд устремлен вперед, хотя впереди, кроме размытой дороги да грязи, ничего не видно.

– Наверное, аэропорт не принимает! – говорит он и спрашивает маму: – Что тогда! Возвращаться?

– «Возвращаться»! – возмущается мама. – Столько ждали, так мчались – и возвращаться! Будем ждать!

Ждать! В аэропорту нам говорят, что надо ждать. Что самолеты задерживаются из-за метеорологических условий.

Папа отходит от окошечка, где дают справки о самолетах, и пожимает плечами. Лицо его растерянное.

– В суматохе, – говорит он, – я не спросил подробностей. Он сказал только, что его подбросят военные летчики. Друзья. Чтобы мы просто сидели и ждали. Но как же ждать?

Мама резко вскакивает, исчезает, потом появляется.

– Ну вот, – говорит она, – все самолеты стоят, а наш идет на посадку. Военный транспортный самолет.

Мы бежим к выходу, и сердце у меня колотится. Еще бы, я же не видел своего деда. Вернее – не помню. Но это все равно что не видел. Вот он выйдет сейчас из своего транспортного самолета в

генеральской форме, весь в орденах, и все будут оглядываться на нас.

Я смотрю вокруг. Аэропорт маленький и тесный, а сейчас приходится пробираться среди людей и тюков, потому что погода нелетная и народу набралось полно. Вон эвенки узкоглазые, хитрые, с трубочками во рту. Вон геологи в походных сапогах с десятками ремешков и застежек. Вон солдаты с мешками и без погон – эти, я знаю, просто ждут машину, а приехали они к нам на стройку после армии.

Вздрагивают стекла в окнах от гула самолета, вздрагивает и народ, думает, нелетная погода кончилась. Но она не кончилась. Это просто прилетел мой дед.

Мы втроем выбегаем на бетонную полосу и мчимся под проливным дождем к самолету.

Самолет самый обыкновенный, даже не очень красивый: выкрашен в зеленый цвет.

Мы бежим по лужам к военному самолету, который привез наконец моего деда, я вглядываюсь в темный провал открытой двери и жду, как сейчас, вот сейчас – сию секундочку, дед появится на ее пороге.

Я обгоняю маму и отца, я жму во все лопатки и вижу, как по шаткой лесенке, спиной ко мне, спускается мужчина в летчицком шлеме. Я поддаю газу и проношусь мимо какого-то маленького старика в коричневом пальто и кепке. Старик что-то говорит мне, кажется, но тут уж не до него, я подлетаю к мужчине в летчицком шлеме, думая, зачем артиллеристу такой шлем.

Конец ознакомительного фрагмента

Эту книгу Вы можете взять:

- в отделе абонемента по адресу г. Оренбург, ул. Правды, 7
- в читальном зале нашей библиотеки по адресу г. Оренбург, ул. Советская, 20.

Получить доступ к электронной версии книги Вы можете в электронном читальном зале нашей библиотеки по адресу г. Оренбург, ул. Советская, 20, 2 этаж.